

“Москва, Москва! Как много в этом слове для сердца русского слилось...”

МОСКВА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ
ИЗДАЕТСЯ РУССКИМ ЦЕНТРОМ В ЧИКАГО, ИЛЛ.

“MOSCOW”

Published monthly by Russian Center of Chicago, Illinois.

Редактор: Л. Г. Перцов

L. G. Pertzoff, M. D., Editor

2001 West Division street, Chicago, Illinois, U. S. A.

Telephones: Brunswick 3399 — Armitage 5801.

СОЛОВЬЕВ и ЧЕХОВ

(Посмертная статья).

Настойчиво приближается к моему воспоминанию милая фигура Чехова. В редакции "Русской Мысли" впервые услышал я его мягкий басок, впервые увидел его задумчивые глаза. И помню я майские дни 1899 года, когда Москва, родина Пушкина, праздновала столетие его рождения. На Тверском бульваре у памятника великому поэту собрались представители разных общественных организаций.

Вдруг — некоторое движение в толпе, замешательство: полиция не подпускает к почетной трибуне одного господина, которого случайно не снабдили соответственным билетом. То был Чехов. Недоразумение уладилось и вот у подножия Пушкину стал Чехов.

Это было уместно, это было символично и невольно думалось о том, что здесь, в этой близости

двух словесников, усопшего и живого, монумента и реального человека, явственно сказалась преемственность русской литературы. Мне было только больно, что хоть и тусклый был день, все же и скудных лучей солнца доставало на то, чтобы на истомленном и бледном лице Чехова разглядеть следы той болезни, от которой погибал "учитель" его рассказа и которая через несколько лет свела в безвременную могилу его самого...

Вечером на банкете один из ораторов сравнивал Чехова, в его присутствии, с Пушкиным, и заметно было, что скромность тихого писателя жестоко страдала. Ведь именно тих он был и замкнут в себе, целомудрен душою, не любил шума, рекламы, публичных выступлений. Музыка его личности не знала фальшивых, деланных нот. Никогда не было у него желания становиться в позу, посылать

себя на выставку, создавать себе эффектное освещение. Он ни у кого не занесивал, ни у публики, ни у критиков, ни у консерваторов, ни у либералов. Он был сам по себе. И неприятно было ему, когда на него глядели — с праздным любопытством читателей к своему кумиру. Но я и сам от этого любопытства отрешиться не могу и при всякой встрече с Чеховым устремлял на него заинтересованные и восхищенные глаза.

Однажды командировали меня домашние в кондитерскую за пирожными. наказав при этом, чтобы выбор их я сделал не “тенденционно”, не в угоду своему лишь личному вкусу... А в кондитерской я застал Антона Павловича с О. Л. Книпер и установился на него так усердно, что уж не следил за тем, какия именно пирожные кладет продавщица в корзинку. От упрека в тенденциозности я, к слову сказать, дома все-таки не был освобожден...

И потом — эти завершающие недолгую жизнь Чехова, эти предпоследние часы его в Московском Художественном театре, где был он своего рода гением-хранителем, где на строгом сером занавесе распростирала свои крылья его чайка, где в плоть и кровь облечены были расшатавшие революционной бурей, но все же не разбитые образы его и наших трех сестер, его и нашего дяди Вани.

Мне уже приходилось в печати говорить о 17 января 1904 г. То был день рождения его лебединой песни, его последней пьесы “Вишневый сад”. Ее в тот вечер впервые поставил Художественный театр, и была прекрасная игра, и были очаровательны декорации, и так поэтичен был “весь, весь белый”, весенним цветом одетый вишневый сад. Чехова не было в театре, но после третьего, помнится, акта его привезли. И началась задумчивая овация. В тот памятный вечер, как сознали потом, с любимым писателем навсегда прощалась, давала ему последнее нравственное целование его тоже любимая Москва, куда так мечтательно стремились его сестры. Длинной вереницей всходили на сцену депутаты, мужчины в черных и дамы в белых платьях, и говорили ему речи, и восторженно хвалили его. В переполненном зале Художественного театра, где многими много пережито было высоких минут, шумела своим зеленым шумом, весенним шумом увлекающаяся молодежь, и не ослабевал приветный гул рукоплесканий. А Чехов стоял смущенный и бледный, с легкой улыбкой на усталом лице, и огоньки юмора за стеклами пенсне пробегали в его умных глазах, когда какой-нибудь оратор своим красноречием напоминал ему “ора-

тора” из собственного рассказа... Он слушал приветы и славословия, а кругом него были цветы и лавры. Он пожимал руки мужчинам и целовал руки женщинам. Он слушал и часто покашливал. Его упростили сесть в кресло: помнили, что он болен и слаб, и когда в прочитываемых адресах говорилось о его бессмертии, слишком ясно было, что имели в виду бессмертие только духовное...

И в самом деле, прошло полгода, только полгода, и опять были цветы и лавры, опять волновалась многотысячная молодежь, опять звучали хвалебные слова; но все это — уже в отсутствии Чехова, все это — уже на его похоронах, на кладбище Московского Девичьего монастыря, где в тесном живописном уголке, под тенью расцветавшей липы, впоследствии уступившей место памятнику, подле своего отца, недалеко от близкого ему и при жизни поэта Плещеева, нашел Чехов и себе свой последний приют. Да, в Москву привезли его тело из немецкого Баденвейлера, где по немецки сказал он “их штербе” и умер.

На иных памятниках, в траурный день 2-го июля, вместе с рабом Божьим Антоном поминали и раба Божьего Павла, соседа по могиле, соединяли знаменитого сына и неизвестного отца, потому что тождественны человеческие судьбы и демократична единая республика смерти...

Уже в годину революции, когда новыми бесчисленными крестами, простыми деревянными крестами вместо пышных мавзолеев и плит усеялось монастырское кладбище, я — в который раз? — снова навещил могилу Чехова. И снова думал я о том, что недавно, до великой русской разрухи, сюда совершались паломничества с соседних женских курсов, сюда приходили обитательницы Девичьего Поля, милые курсистки, русские девушки, любимицы Чехова, и опускались на колени перед его ранней могилой и клали на нее свои скромные дани — цветы и пушистые вербы и ветви с вишневых деревьев — и плакали о ней, и тосковали по нем, и воскрешали перед собой его чарующий облик и нежную элгию его рассказов и драм...

На том же кладбище есть уголок Соловьевых: знаменитый русский историк покончил там, члены

*) Статьей Ю. И. Айхенвальда (“Р.”) редакция с удовлетворением отмечает также 20-ти летие со дня смерти нашего крупного философа и писателя, Вл. С. Соловьева, скончавшегося, как известно 28 июля (ст. ст.) 1909 г.

его семьи, среди них — еще более знаменитый сын его, философ, публицист и поэт Владимир Соловьев. Вот последнего знал я довольно близко, в связи с моей работой в редакции журнала «Вопросы философии и психологии», где он был самым желанным и почетным сотрудником.

Прекрасно и одухотворенно было его лицо, и на всем его существе лежал отпечаток избранности, — даже той гениальности, которая сродни безумию. Удивительные глаза, пышные волосы, тонкие руки, теплый тембр голоса и смех, высокий смех, которым он, иногда в чрезмерной, даже недоумение вызывавшей степени, откликался на всякую шутку, на все комическое. «Был на земле он не жилец, а вдаль стремившийся прохожий — сказал про Соловьева, про этого искателя правды Божьей, поэт Жемчужников. Впрочем, кто ближе подходил к Владимиру Соловьеву, с его головой пророка, те убеждались, что далеко не одни лишь небеса привлекали его взор, но и грешные цветы земли. Он побеждал в себе чувственность, но именно побеждать ее приходилось ему, а не то, чтобы она по натуре была ему чужда и далека. Странные и страстные видения бродили, повидимому, в его фантазии, и это порою сказывалось в его стихах и интимных разговорах. Слова Достоевского приходили на память при взгляде на Соловьева, — слова о том, что слишком широка человеческая натура, — особенно — русская, что могут совмещаться в ней идеал Мадонны с идеалом Содомским. Был Соловьев человеком чистой жизни, но уста его произносили не одно только чистое...

Во всяком случае, я благоговел перед ним, перед тем хрупким сосудом идеализма и духовности, каким он рисовался моей тогда еще молодой и доверчивой душе и каким он в значительной мере и был на самом деле. Я помню: пригласил я к себе на чашку чаю своего, если хотите, патрона, редактора «Вопросов философии» В. П. Преображенского (сам я был секретарем редакции); вообразите же себе мое удивление и восторг, когда мой гость привел с собой и Соловьева.

«Владимир Сергеевич! — воскликнул я — какая честь!». И остался тот вечер для меня одним из самых радостных и памятных в жизни. И я бережно хранил в России письма Соловьева ко мне и его книги с дорогими для меня надписями. Сохранилась у меня и рукопись его последнего произведения — очень коротенького, правда: его юмористического четверостишия, которое он набросал в день своих именин, 15-го июля 1900 года, сидя

в редакции «Вопросов». В тот же день уехал он в подмосковное село Узкое, принадлежавшее князю П. Н. Трубецкому и там слег в постель, чтобы уже никогда не вставать с нее.

Разсказывали, что в предсмертном бреду он произносил древние еврейские слова, — «молился за еврейский народ», как это истолковала легенда. Верно то, что Соловьев был юдофилом, в одном письме ко мне он даже выражает огорчение, что я в печати неодобрительно отозвался о некоей книге, переводчик которой «принадлежит, как и Вы, к тому народу, который я по причинам историческим и нравственным с гордостью считаю своим народом». В замечательной статье «Еврейство и христианский народ» покойный мыслитель свое углубленное понимание еврейской проблемы высказал очень ярко и сильно.